

Ольга Девш

В зиме папу видно

Я бы и в выходных данных книги указала Алену Чурбанову как соавтора, а не только сноской от звездочки возле названий рассказов «Бэби-бум», «Бумеранги», «Что доконало Сару», «Машина времени». И не потому, что эти совместные рассказы — одни из лучших в сборнике, а поскольку именно ее образ — самый растворенный в текстуре и связывающий элементы. Благодаря жене герой книги Женя Никитин и автор книги Евгений Никитин собрали книжку «Про папу». Об этом позже.

«Когда я был моложе, я писал о том, как друг прозрачней становился, о том, как он растаял и пропал, а я, наоборот, лишь уплотнился. На деле я себя имел в виду: я таял, а другие уплотнялись, но я боялся, к своему стыду, вывешивать такой самоанализ. Теперь я не стесняюсь ничего, пишу всё, что мне в голову взбредает, и то, чем был я раньше *qui pro quo*, мгновенно расплывается и тает. Я больше не прозаик, не поэт, не муж, не друг и даже не любовник, и может быть, меня на свете нет. Есть лишь “Тридцатилетнего письмовник”» — цитата из почти одноименного «Письма тридцатилетнего». Этот рассказ в третьей (всего пять) части книги разбит на фрагменты, как и весь — и здесь остановимся подробнее — «антироман». Так в прологе «От автора» Никитин характеризует сборник, что и подхвачено издательством, вынесено на обложку и в аннотацию. Звучит интригующе. Как и фамилии Довлатова, Чапека и Аверченко, которых (если верить аннотации) Никитин считает своими предшественниками. Ожидаешь от текста чего-то вроде: «Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом

паука...» (Аркадий Аверченко, «Автобиография»). Или наподобие: «На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет...» (Сергей Довлатов, «Ослик должен быть худым»). Ожидания оправдываются лишь частично.

Антироман «Про папу» является сборником рассказов-рефлексий, по стилю действительно напоминающим «Автобиографию» Аверченко. Похожи короткие, емкие истории-слайды, без лишних пустых слововерчений, где четкая фраза максимально концентрирует содержание объекта в отношении субъекта к нему. Сравним: «Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрыгах отца...» — и теперь: «Как заядлый мизантроп, я хотел продавать что-нибудь вредное для здоровья, например, яды или огнестрельное оружие». Ирония в обоих случаях. Но у Никитина она гуще и темнее.

Автогерой Никитина ведет сатирический плач. Все многочисленные персонажи его историй, даже давно вышедшие из окружения, становятся вровень с ним. Он описывает их в соприкосновении с собой, отчего персонажи то двигаются, как резкие графические силуэты в пару набросков, — если их роль была проходной; то удастаиваются отдельной ветки истории. То есть самочувствие автогероя то лучше, то хуже. Когда пишет больше о себе перпендикулярно, естественно, что лаконичностью подчеркивает собственное скупое существование. Распространяться обстоятельно об этой жалости не получается. А через рассказы о семье и детстве Никитин повышает потенцию переживаний, воспоминаниями стимулирует сочувствие.

Рефлексия неизбежна, скользит, покачиваясь в такт эмиграциям (из Молдовы в Германию, а оттуда позже в Москву),

Евгений Никитин. Про папу: Антироман. — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2019. — 192 с.: ил.

и в связке с ней объективная реальность, прям по Лакану, частенько использует «законы сновидений». Женя хронический соня. Наяву. Сны в книге нередко продуктивней бодрствования, потому что в них он, каким бы ни было образом, возвращается в отправные точки подавленных желаний и страхов. Во сне разрешения ситуации не происходит, но осуществляется «перепроживание», работа с травмой. Персонажная сетка смахивает на паутину и состоит из фигур, в разной степени, однако, травмирующих автогероя, — он барахтается в ней, среди них, стараясь распутать, найти концы. Освободиться же полностью нет попыток, даже смена стран проживания и женитьбы не приводят к гармонии. Сон секретирует подавляемые комплексы и генерирует миражи и фантазии. И они чаще касаются самореализации.

Есть «звездные» действующие лица: известные в литературных кругах люди, с именами и репутациями. Их упоминание, как правило, носит неоднозначный характер, наводящий на мысль о вспышках скрытой (ли?) инвективы. Что подтверждает сатирические амбиции автора и, вероятно, упрочивает позиции автогероя как поэта, которого знают, но не признают: «Когда-то я жил у Олега Дарка. Поздно вечером (жена уже спала), я выбирался на кухню и доставал вонючие сигариллы: покровный лист из Суматры, внутри резаный табак. На них уходила половина моей скудной зарплаты в "Эксмо". Олег Дарк курил "Беломор". Изредка на кухню выбирался лауреат премии "Дебют" Андрей Егоров. Он тоже там обитал, с женой. У Егорова было утро, он жил по ночам. Я любил этого человека, он меня на дух не переносил. Курили молча. Иногда беседовали, но запомнилось молчание. Играли в шахматы. Дарк сначала проигрывал, потом начал выигрывать: я будто глупел на глазах. Мы с женой спали на полу на тонком детском матрасе (он дешевле). Был ещё надувной — он сдулся. С Дарком мы как-то повздорили: я нечаянно нарушил правила общежития, оправдывался, упирал на то, что человек я простой, не догадался. Олег ответил: "Утончайся". Я утончился с годами. Сейчас еду в электричке, люди смотрят сквозь меня в окно».

Видите? Жена фоново присутствует в повествовании (кроме текста «На кладбище»,

где Алёна участвует в разговоре папы с Женей, снабженном достаточно, хочу отметить, двусмысленными репликами, способными вызвать обценные ассоциации), выступает метафизической стеной, скрепой, кругом поддерживающим. Наравне с мотивом невостремленности главного героя. Не в противовес, а как бы говоря, что вот, гляньте, она со мной по всем съемным комнатам в перенаселенных квартирах, по матрасам тонким, впроголодь или до того скромно, что, угорев от экономии, в конце концов в кабак нажраться пошли, живет. Живет! А ведь вторая уже. Я слышала чутка, что долго не целованные мужчины потом компенсируют нехватку. Однако Никитин красной нитью проводит во всех своих сорока семи рассказах тему, так скажем, обедненного внимания женщин к нему. И не одних женщин. Череда эпизодов, где протагониста так или иначе не оценили, не полюбили, бросили, не взяли на работу, из части в часть мигрирует, мигая, как блуждающие огни. Сюжетные линии пунктирны, с большими апрошами.

Про папу, несмотря на обещание в названии книжки и предисловии, Никитин рассказал меньше, чем о себе. Не закрепилось у меня впечатление как от живого человека, это, скорее, умело сложенный под определенную историю денотат «папа». Так же есть класс «мама» и «бабушка». Совокупные образчики — второй отчим-комбинатор Изя и книжный червь Пётр Исаевич. Лишь Пушкин — цыган-пастух из молдавского трудного детства Жени — нарисовался колоритным и человечным. Он из того рассказа «Бэби-бум», который входит, как я говорила вначале, в четверку, на мой взгляд, лучших в сборнике, и написан в соавторстве с Алёной Чурбановой. Вклад соавтора вычислять в знаках с пробелами не вижу необходимости, так как стиль едва ли резко разнится с единоличными текстами Никитина. Но в соучастных с женой повествованиях Никитин пишет полнокровней, ярче. Вместо короткометражек, от которых остается серый непонятный осадок и картонно-пыльный привкус, демонстрируется цветное игровое кино с легким флером экзистенциального порыва. Чувствуешь, что автор (-ы) с азартом и увлечением создают картинку, возникает атмосфера, можно оглядываться, не боясь ощутить нехватку

воздуха. И дело не в том, что автогерой много курит. В текстах Никитина, что идут без соавтора, недостаточно витальности. Идут они не строем, а гуськом, периодически рокируясь в позапрошлую свинью, и ход их исполнен постылости и, не выразимого без глухого короткого рыка, бессилия: «Я мог бы сказать ему, что я там-то и там-то печатался... Например, в “Знамени”. Он бы спросил: “Что за дебильное название журнала?” Или я мог рассказать, как участвовал в Венецианской биеннале. Но это тоже прозвучало бы как попытка оправдаться за своё ничтожество».

Папа выполняет роль мавра из расхожего анекдота. Сделал свое дело — родил. А Женя выбрал маму при разводе. Сам виноват. Как виноват и в незнании молдавского, и в неистинном еврействе, виноват в загаженности кухни в немецком городе, где свободных кошек не найти, виноват в противном детском поцелуе дворовых детей, в красных фонарях Амстердама, виноват в измене первой жене и в сбивчиво-бедной поэтской жизни со второй. И точку автор ставить не собирается: «Я встал и прошёл дальше, в пятый вагон, затем в шестой, седьмой, восьмой... Вероятно, рано или поздно вагоны закончатся, я устану и попытаюсь привыкнуть, но пока я бегу вперёд, ни на что особенно не надеюсь».

...Они идут, бегут, его герои — от чего-то и в поисках себя, обретая, теряя и вновь обретая надежду.

И кругом окна со снегом, а в двери или заговорщицки стучат, или вламываются с последующим выдворением.

Вот Юра... вот папа у него... как Женин: опознан был еще в прологе, — и чем они лучше? По сути ничем. В центральном сильном рассказе «Зима» наконец удалось увидеть Никитина по-настоящему пишущего о своей боли. Там нет автогероя, а боль, страх, одиночество и непосредственность, воображение есть.

Юра просто боялся собак, даже в комбинезонах. Зато выпил, поел, покурил, поговорил с пошарпанным уличным пенсионером и привел его домой, посулив гуппомощь самогоном. Ничего особенного. Правда, в беседе Юра папу то умертвил, то оживил. А папа бьет за двойки через всю спину, хоть и паладин. Впрочем, и дяденька этот, уснувший на корточках в безветрии и сухости подъезда, оказался его спасителем. От собак спас. Голыми руками дрался с трансформерами. И винегретом угостил.

«— Понятно, — сказал папа. — Маленький такой, и не подумаешь, что с трансформерами справиться может. Ну ладно, идем. Мама ужин приготовила, я уже тебя искать собирался.

Он с опаской оглянулся на дядьку. Но дядька ничего не слышал. Он уснул.

Папа Юрки не стал его будить и закрыл дверь. Утром дядьки уже не было, а всего через месяц прошли сто лет зимы, и никто не умер».